

18+

Елизавета Афти

АЛЕНТА

Елизавета Афти

Алента

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51936913

ISBN 9785449855411

Аннотация

Исторический роман, охвативший почти весь период существования Советского Союза, предстаёт перед читателем в форме дневников главного героя. Каждая запись посвящена ключевым моментам его биографии. Еще в раннем детстве Николай Адаменко испытал на себе все тяготы репрессий, прошёл через войну и фашистские концлагеря. Безумие и смерть следовали за ним повсюду, предвещая бесславный конец. Однако герой раз за разом ускользал от гибели благодаря вмешательству загадочного существа по имени Алента.

Содержание

Елизавета Афти	5
2 июня 2013 года. Санкт-Петербург	5
23 октября 1990 года. Ленинград	14
11 ноября 1990 года. Ленинград	23
28 декабря 1990 года. Ленинград	30
2 января 1991 года. Ленинград	35
7 февраля 1991 года. Санкт-Петербург	42
28 февраля 1991 года. Санкт-Петербург	50
2 марта 1991 года. Санкт-Петербург	56
12 марта 1991 года. Санкт-Петербург	61
16 марта 1991 года. Санкт-Петербург	67
2 апреля 1991 года. Санкт-Петербург	74
11 апреля 1991 года. Санкт-Петербург	80
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Алента

Елизавета Афти

© Елизавета Афти, 2020

ISBN 978-5-4498-5541-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Елизавета Афти АЛЕНТА

2 июня 2013 года. Санкт-Петербург

День первый

Хочется верить, что мой труд не будет напрасным. Я не обладаю информационной властью, не имею связей, не знаю людей, способных помочь мне. Раньше я не могла вообразить того, что произойдёт со мной. Признаюсь, какое-то время, меня одолевал соблазн просто выбросить эти бумаги и забыть обо всём. Хотелось сжечь их, предварительно искромсав ножницами, а пепел развеять над водой. Настолько сильно я боялась, а страх заставляет отрицать истину.

Но всё же, я поборолa себя. На мне лежит слишком большая ответственность. Я не смею отказать Аленте. Он желает, чтобы я рассказала о тех событиях, и я сделаю это, невзирая ни на что.

Всё началось в тот миг, когда я поднялась на четвертый этаж, как и в предыдущие разы, не воспользовавшись лифтом. Причиной тому была невероятная запущенность, в ко-

торой пребывала лестничная клетка, да и сам лифт буквально прогнал изнутри. Еще были свежи воспоминания из далекого детства начала двухтысячных, когда парадные в домах спальных районов Петербурга были оккупированы бомжами и наркоманами. Грязные стены, оклеенные бог знает чем, липкий темный пол под ногами, запах гнилой картошки – все это плотно закрепилось в моей памяти и вновь воскресло, стоило мне войти в дом в районе Гражданского проспекта, что стоял неподалёку от живописного ручья.

Антонина Сергеевна и Анатолий Михайлович – мои прабабушка и прадедушка, ветераны Великой Отечественной войны, получили трехкомнатную квартиру с видом на Муринский парк еще в начале шестидесятых годов. Их старший сын Михаил Анатольевич приходился мне родным дедом по отцовской линии. Он часто навещал стариков, коротавших последние годы жизни в той самой квартире, вместе со своей женой Людмилой, приносил им еду, лекарства, помогал с уборкой. Иногда я приходила вместе с ним, тогда мне доводилось беседовать с прабабушкой Антониной. Она открывала деревянный ларец с драгоценностями и разрешала примерить янтарные бусы. Или же показывала старый альбом с черно-белыми фотографиями, где дородная дама с темными пышными волосами и пронзительным взглядом немного напряженно улыбается, держа под локоть высокого стройного мужчину с аккуратным пробором, правильным носом и светлыми глазами. Там же запечатлен мой дедуш-

ка вместе со своим младшим братом Димой, они плещутся в ванной, переставляют деревянных солдатиков по ковру, торжественно демонстрируют пионерские галстуки.

– Хорошее время было, очень хорошее, но и непростое, – вздыхала бабушка и протягивала мне очередную фотографию, – хотя ты навряд ли поймешь.

Прадедушка Толя ушёл из жизни год назад, к тому моменту я уже вышла из подросткового возраста, перешагнув рубеж двадцатилетия. После окончания юридического института устроилась на работу в адвокатскую контору на должность консультанта. До сих пор во мне живёт чувство запоздалой вины за то, что, погрязнув в учёбе и карьерных амбициях, не уделяла внимания старикам, отдалившись от них. Не проявляла особого интереса к рассказам о войне, не лезла с расспросами.

Накануне смерти прадед сделался беспомощным, почти никого не узнавал, даже на любимую супругу смотрел с недоверием. Когда его не стало, прабабушка и сама слегла: тяжёлая простуда подкосила её, приковав к постели. Спустя год она умерла. Сегодня мы простились с ней, отправив в последний путь.

Так или иначе, сразу после того как вся немногочисленная родня покинула стены крематория, было принято решение отправиться напрямик на квартиру ныне покойных, для того чтобы разделить общую трапезу и помянуть усопших.

После затхлого смрада лестницы квартира встретила нас свежевыбеленными стенами, новым линолеумом в коридоре и легким запахом нафталина.

– Но как? – я повернулась к отцу. – Помню, что здесь были старый советский ремонт и горы хлама!

– После смерти деда мы отправили бабушку в Белоруссию к сестре, а сами вычистили все и наняли рабочих, которые привели все в порядок.

– Неужели вы все вещи просто выбросили на помойку, как ненужный мусор?! А как же драгоценности, книги, да и дедовский секретер хотя бы?

Отец поморщился в ответ на это и прошел в комнату, где сутились женщины, накрывая стол.

– Сейчас придет дядя Дима, он занимался ремонтом, вот у него и спросишь.

Дядя Дима приехал только минут через сорок с двумя плоскими картонками, от которых исходил аппетитный запах сдобы с черникой и клюквой.

– Осетинские пироги подходят к любому случаю – хоть на свадьбу, хоть на поминки, честное слово, мы с Ириной их просто обожаем, угощайся, Люд, – он положил кусок в тарелку моей бабушки, – и ты, Вероника, выбирай, какие ягоды больше нравятся.

Я указала на чернику и стала ждать подходящего момента, чтобы задать вопрос о дедушкиных вещах. Время тянулось слишком медленно; прозвучал уже не один тост, вос-

хваляющий земные деяния стариков, было съедено все оливье, и от пирогов почти ничего не осталось.

– Я тут портрет деда нашла, – протянула Ирина, – в военной форме, совсем молодой и красивый здесь. Только бабушка его здесь не узнала, говорит: «Убери его подальше отсюда, не могу его видеть, это не мой муж».

– Странно, – дедушка Миша наморщил лоб в раздумье, – не помню этой фотографии, в детстве мне её никогда не показывали. У деда была только одна официальная фотокарточка в форме, он там баян держит. Сейчас найду её, погодите.

Суета, вызванная дедом, охватила и собравшихся гостей. Многие вскочили со своих мест и устремились на поиски второй фотографии дедушки Анатолия. Вскоре она была найдена в одной из коробок, стоявших в коридоре.

– Ничего не понимаю, решительно ничего не понимаю, – дедушка продемонстрировал всем хорошо знакомый портрет, прежде долго висевший на стене в одной из комнат, – то, что я сейчас держу в руках, бесспорно, изображает деда Анатолия, другой же, – он кивнул в сторону первой фотографии, – просто мужчина, похожий на моего отца.

В комнате повисло напряжение. Бабушка поникла и опустила глаза в пол; жена дяди Димы привстала и, наклонившись к столу, потянулась за первым портретом. Взяв его в руки, стала дотошно разглядывать.

– Это не дед, – сказала она спустя несколько минут, – но,

может быть, этот человек – его близкий родственник.

– Всю родню отца я прекрасно знал, – дедушка трясущимися руками выхватил портрет у Ирины, – погоди-ка, сначала я был уверен, что это он, но сейчас могу заметить небольшие отличия: уши у деда большего размера, чем у этого, подбородок у первого без характерной ямочки, да и на шее какой-то шрам, похожий на ожог. Как же я сразу этого не увидел?

При этих словах бабушка едва слышно вздохнула и всхлипнула, промокнув глаза ситцевым платочком. Пожалуй, я была единственной, от кого не укрылся этот жест.

– В чем дело? – прошептала я, пододвигаясь ближе к ней, – что тебя так расстроило?

Та дернулась и замерла, глядя куда-то перед собой, явно пребывая в состоянии глубокого размышления. Затем повернулась и, прижавшись к моему уху, прошептала:

– Приходи к нам в гости, после того как все закончится. Дед уедет на дачу сегодня вечером, и я покажу тебе кое-что.

После этого она отвернулась и как ни в чем не бывало вступила в общий разговор, высказывая собственные догадки относительно личности неизвестного молодого человека, которые, по правде, носили лишь нейтральный характер и не могли способствовать открытию истины.

Спустя пару часов гости стали расходиться по домам, выражая горячие соболезнования дедушке и дяде Диме. Те рассеяно кивали, поглядывая друг на друга; было заметно, что

им не терпелось начать расследование и узнать имя гражданина, который, вероятно, был их родственником.

Уже сидя на пассажирском сидении в машине отца, я сказала ему, что планирую сегодня переночевать у бабушки. Тот не стал возражать и лишь поинтересовался, почему я не сказала об этом раньше, ведь тогда я могла бы сесть в машину к дяде Диме, который как раз отвозил её и бабушку домой. Я пожала плечами и забормотала что-то о своей феноменальной забывчивости, уткнувшись в телефон.

Бабушка жила на проспекте Пархоменко – совсем недалеко от Мушинского ручья. Так что спустя двадцать минут я уже набирала номер квартиры в домофоне, поглядывая через плечо в сторону отца, который решил не выходить из автомобиля и ждал, когда я зайду в дом. Бабушка встретила меня, уже облаченная в свой излюбленный желто-зеленый халат в клеточку. На кухне слышался свист закипающего чайника, а в гостиной шумел телевизор.

– Я рада, что ты пришла, – она заключила меня в объятия, – Миша не стал заходить домой, поэтому у меня было время приготовить все необходимое. Пойдем на кухню.

На столе уже стояли чашки и вазочка с печеньем. Бабушка сняла чайник с огня и залила заварку кипятком. Я осторожно отхлебнула напиток, при этом поглядывая на бабушку, в привычных действиях которой ощущалась некая нервозность.

– Сейчас мы пойдем в мою комнату, – она собрала посуду

со стола, намереваясь помыть её позже, – там лежит папка со старыми записями, я нашла их в сундуке с фотографиями, когда год назад разбирала вещи деда Анатолия.

– Это связано с тем мужчиной? – я ощутила прилив необъяснимого волнения.

– Да, – бабушка направилась в сторону гостиной, в конце которой находилась смежная дверь в её спальню, – предупреждаю заранее: тебе придется потратить не один день, для того чтобы отсортировать и прочитать все, что там написано. Я сама толком не читала их.

– Военные дневники, да?

– Не похоже.

Бабушка впустила меня в просторную светлую комнату, оставленную в кремовых тонах. На мягкой двуспальной кровати лежала толстая картонная папка темно-красного цвета. Из нее выглядывали края пожелтевших ветхих листов, исписанных темно-синими чернилами. Ведомая любопытством, я села на краешек кровати и взяла папку. От неё веяло стариной, несущей в себе какую-то мрачную тайну, создавалось ощущение, что тот, кто сделал эти записи, не хотел, чтобы они были прочитаны кем-то посторонним. Я провела рукой по твердой обложке, ощущая неровности сколотой краски.

– Я стерла с неё пыль, – приглушенный голос бабушки донесся до меня будто сквозь водяную толщу, – но многие листы очень грязные, так что будь осторожна.

Кивнув в ответ, я продолжила изучение старого предмета,

даже не услышав, как за моей спиной скрипнула дверь, тихо закрываясь. Развязав черный боковой шнурок, я открыла папку, решив не извлекать листы, а просто перекладывать их на сторону форзаца. В глаза мне сразу бросился небольшой эпиграф в правой боковой части первой страницы. Аккуратный, почти претендующий на каллиграфическую изящность косой почерк был легко читаем.

*Чья ярость скрытая рождает страх,
Когда ж в нем гнев вздымался невзначай,
Вздыхало Милосердие: «Прощай!»
(Джордж Гордон Байрон, 1814 г.)*

Далее следовало начало повествования. С первых строк я погрузилась в него, с лихорадочной жадностью стремясь постигнуть тайну, которую Николай Матвеевич Адаменко не рискнул доверить ни одной живой душе. Лишь черствая бумага впитала его чувства, навеки сохранив их в первоизданном состоянии.

23 октября 1990 года. Ленинград

Нет слов, способных описать степень моего счастья. Лишь осознание того, что многолетние поиски наконец-то увенчались успехом, заставляет меня испытывать блаженную эйфорию. Несколько десятков лет мой разум пребывал в тоскливом смятении. Порой мне казалось, будто я уже давно испустил дух и, покинув телесную оболочку, скитаюсь в мертвой пустыне загробного мира. Настолько серой была моя жизнь. Мир стал блеклым, когда я, будучи семилетним мальчишкой, увидел то, что не было предназначено для человеческих глаз. Тогда никто не поверил моему рассказу, ибо все знают, что в таком возрасте дети склонны к фантазиям. Никто не понимал меня, никто не признавал за правду мои чувства.

Теперь же все изменилось. Я нашел то, что не давало мне покоя, то, что утягивало на дно безумия. Сущность, чуждая нашему миру, затаившаяся там, куда не доберется ни один человек. Я долго не понимал её природы, раз за разом спрашивая себя: кто же ты? Что управляет тобой? И какая невероятная глупость побудила тебя открыться случайно встреченному ребенку? Ведь не мог я обладать какими-то особыми качествами, выделявшими меня из бурой массы детей коммунизма? Или же ты намеренно пожелал свести с ума, выбрав первую мишень по воле случая?

Я вырос в обычной семье. Мое детство не было безоблач-

ным, а на период юности пришлась самая кровавая война минувшего века. Зрелость я встретил, будучи убежденным, что, несмотря на видимое благополучие, я никогда не буду спокоен. Я должен был убедиться в истинности твоего существования. Ты стал манией, превратившись в бредовую мысль, засевавшую где-то глубоко в подкорке. Сколько бы я ни пытался, забываясь в алкогольном дурмане, не мог вытравить тебя. Признаюсь, я болен. Болен желанием увидеть того, кто разрушил мою жизнь еще на стадии её становления, сделав меня подобным рудименту человеческого общества.

Ты есть величайшая тайна, ты – тот, кто лишен всякой слабости, ты – душа самой непокорной стихии, ты – Алента.

Наша первая встреча пришлась на лето двадцать девятого года. Тогда я был слишком мал и не мог осознать всю масштабность и ужас того, что случилось со мной на той реке.

Воспоминания о детстве – странная вещь. Углубляясь в них, понимаешь, что большая часть блеклых картинок лишь отражает иллюзию беззаботной юности. Я помню наше село, ныне скрытое от основной дороги плотным лесом, помню стада исхудалых коров, их грязные тощие бока, облепленные голодными мухами. Помню сварливую, но горячо любимую мною бабушку, которая считала меня самым лучшим ребенком на свете. Помню, как я бежал вслед за соседскими ребятами, упрашивая их взять меня на рыбалку.

Они же посмеивались и говорили, что мне еще следует подрасти, а то не дай бог утону, запутавшись в тине. В погоне за ними я каждый раз неизменно спотыкался и разбивал колени, сдирая едва зажившую кожу.

Размазывая злые слезы по заляпанным щекам, я брел в сторону дома, поникший, но не растерявший прежнюю веру в предстоящий успех. В силу своего нрава я не мог считать себя обидчивым или не дай бог злопамятным. Скорее моему характеру была свойственна чрезмерная мечтательность, порой приводившая меня к абсурдному состоянию души. Для деревенского мальчишки, рожденного вдали от кровавых очагов революции, реальность жизни представлялась иллюзорно-замкнутой. Мир, видимый мною тогда, был слишком правильным, слишком благонаравным, как будто списанный со страниц романа какой-нибудь Сесилии Джемисон. Только улица Добрых Детей* представлялась мне другой, не менее приятной улочкой, вдоль которой громоздились серые избышки, возможно, разные по виду, но одинаково убогие.

Хозяйство у нас было обширное. Отец держал двух лошадей, четырех коров и домашнюю птицу. Мы имели собственный надел размером в пять десятин, что создавало необходимость в найме батраков из числа соседей, которые дважды в год сезонно трудились на нашей земле. Я был еще мал для полевой работы, но уже приучался к ней, помогая отцу и старшему брату. Нас было четверо детей – старший Жень-

ка семнадцати лет, я, Настенька десяти лет и младший Митька, которому на тот момент было полтора года. У отца было двое братьев, они жили на другом конце деревни и тоже участвовали во всех хозяйственных делах семьи.

Наш дом стоял за поворотом у самой реки. Соседи наши перебрались в город еще до моего рождения, и дом их пустовал уже почти восемь лет. В саду у них цвели одичавшие розы, за ними, чуть дальше у забора, начинался соседский яблоневый сад, в котором, как назло, яблоки были вкуснее и сочнее, поэтому мы постоянно лазали за ними, то и дело нарываясь на гнев одинокой старухи, жившей напротив.

С другой стороны шла тропа к древнему кургану, называемому в народе Сопкой. Поговаривали, что по нашей реке много сотен лет назад проходил тот самый путь «из варяг в греки». Ох, как же ясно перед моими глазами видится эта картина! Стоит мне зажмуриться, и образ далекой эпохи оживает передо мной. Я вижу, как на вершине того кургана горит сигнальный огонь, разгонявший холодный туман. По черной водяной глади скользит эшелон узких резных судов, нагруженных товарами. Лица норманнов злые, обветренные, глаза их холодные, налитые кровью. О чем говорили эти глаза? Какие мысли таились в их крепких, исполосованных шрамами головах? Скажи мне, Алента! Ведь ты был там тогда, ты видел их!

Снова я начинаю сходить с ума. Моя рука дрожит. Проклятые чернила расплываются, и мне все труднее выводить

буквы. Одна лишь мысль о тебе приводит меня в состояние сильнейшей паники. Я должен собраться, сделать несколько глубоких вдохов или открыть секретер Толи, где у него припрятана бутылка коньяка. Мы с Антониной делаем вид, что не знаем о его маленькой записке, хотя надо бы пристыдить этого плешивого барсука...

Пожалуй, нужно сказать еще кое-что. Судить о моих прошлых поступках следует лишь через призму тогдашних событий, как житийных, так и политических. В первой записи я забыл упомянуть о том, что время моего нравственного становления пришлось на самый болезненный период эпохи. Кто-то скажет, что прошлое было черно-белым, подобно фотографиям в старых альбомах, что пылятся за стеклами сервантов в коммунальных квартирах. Но для любого подобного мне это покажется лишь издевкой. То время имело лишь один цвет, и этот цвет – красный.

Я утопал в багровом иле, захлебываясь кровью, молил о милосердном пробуждении, умом осознавая, что нет никакой «красной тюрьмы» в моем подсознании, ибо все это более чем реально. Тюрьмой я называл беспомощность. Она не позволяла мне вмешаться, когда один из уполномоченных ударил мою бабушку прикладом по голове. Я мог лишь плакать, глядя на то, как она, постанывая, шарит по полу руками, силясь найти разбитые очки. Молчал, когда забрали отца. Я просто молчал, хотя мысленно и противился всему

происходящему, не давая согласия ни на одно из действий, к которым меня принуждали. Лишь наблюдая за пламенем, с треском пожиравшим родную избу, я понял, что вся моя дальнейшая жизнь будет подчинена той самой «тюрьме».

Но все это случилось позже. Судьба моя печальна, но не исключительна. Тысячи похожих на меня детей, голодные, продрогшие, разом обнищавшие, бродили по деревням, прося о пристанище тех, кому было чуждо сострадание. Я могу долго рассказывать о том времени, уповая на сентиментальность того, кто рано или поздно прочтет мои записи. Но мне придется быть кратким, ибо я не смогу сказать ничего нового о годах террора, перемоловшего мою личность. Я не видел больше остальных и не стремился докопаться до так называемой правды. Меня влекло совсем иное. Интерес поглотил меня в тот миг, когда я впервые в жизни столкнулся с необъяснимым. Оно ворвалось в мою детскую реальность, разрушая хлипкие границы адекватности.

Древнее существо преследовало меня, подчиняя мой разум и меняя мою личность до неузнаваемости. Я не помню, каким был раньше, но это уже не пугает меня, ибо Алента лишил меня возможности бояться смерти.

Я попытаюсь воскресить в больной памяти все подробности наших встреч, начиная от самой первой до той, что произошла совсем недавно. Именно это последнее событие заставило меня взять в руки перо. Времени у меня немного, и я чувствую приближение скорого освобождения. Груз опо-

стылевшей реальности слишком тяжел для моих старческих плеч.

Итак, вернемся к лету двадцать девятого года, когда я еще не знал о существовании Аленты. В тот день я сбежал из дому под предлогом желания сопровождать брата Женьку, который перегонял коров через село в сторону пастбища. Зной августа дал знать о себе еще задолго до полудня, и я, как и любой нормальный мальчишка моего возраста, стал искать возможность искупаться. Женька, как назло, имел совсем другие планы.

– Еще лодку попроси, ушлепок! – он дал мне подзатыльник. – С мозгами не дружишь, Колька, – добавил он уже спокойнее, шаря в карманах, – у меня вот папиросы закончились, пойду за ними к Стеше.

– А я? – мои кулаки сжались. – Торчат тут, пока ты гуляешь?!

– Так точно, – старший взъерошил мои волосы и заржал, – привыкай работать, дело серьезное и ответственное. Если отец о хлебе позаботился, то остальное под нашим началом.

– Нашел кому объяснять, – я насупился, – не маленький уже.

В ответ Женька расхохотался и, нахлобучив кепку, засвистел какую-то фальшивую мелодию, засунул руки в карманы растянутых штанов, зашагал в сторону деревни.

Сначала я думал развеяться, но все же придушил этот порыв на корню. Коровы лениво мычали, отмахиваясь от злых мух. Я хотел приземлиться на большой валун, но тот был настолько раскаленным, что это оказалось невозможным. Мне пришлось плюхнуться на траву у корней березы, чьи куцые листья создавали слабую тень. Я с завистью созерцал, как сутулая фигура Женьки превращается в мутную точку, растворяясь в знойном полевом просторе. Прислонившись спиной к стволу березы, я стал наблюдать за коровами, которые явно испытывали не меньшее страдание от жары. Многие тоже забрели в тень, а некоторые прилегли на жухлую траву, пытаясь избавиться от зуда укусов.

«Вот бы вывести их к реке, – думал я, жмурясь, – но нет, нельзя, Женька не разрешит, да еще и бате пожалуется».

Желание задремать было невероятным, но в то же время тяга окунуться в прохладную воду пересиливала мою апатию. Я намеревался дождаться Женьку и, сдав ему пост, слиться на речку. Но, памятуя о том месте, куда он отправился, я понимал, что от Степаниды он возвратится ой как не скоро. Но я продолжал надеяться, что тот на сей раз изменит себе и зайдет лишь за папиросами, а не за тем самым загадочным «общением», смысл которого я на тот момент улавливал очень поверхностно. Минуты тянулись, складываясь в час, а братец все не возвращался. Напрасно я вглядывался в золотистый горизонт, где чернели крыши изб. Никто не шел со стороны деревни. Позднее я не раз возвращался к этому

воспоминанию, думая о том, что именно беспечный Женька оказался виновным в моих последующих злоключениях. Вернись он раньше, я бы не спустился под берег реки, где меня настиг Алента.

11 ноября 1990 года. Ленинград

Если кто-то поинтересуется, каково мое мнение о нынешней ситуации в стране, то я лишь почешу свою изрядно поседевшую голову и пробормочу что-то о разрухе и забытых ветеранах, но глаза мои при этом будут улыбаться. Бардак и хаос дали мне свободу. Пока эти старые жабы кряхтели, тасуя облигации, или стояли в километровых очередях за паршивым мясом, я занимался тем, к чему готовился всю жизнь. Я искал доказательства, которые должны были опровергнуть мое безумие. Не стану юлить – я даже побывал у славных шарлатанов, которые хотели обменять парочку моих орден на какой-то талисман из кабаньего меха. Но я не повелся и горжусь этим. Ездил в долины горного Алтая, где, вглядываясь в синеву озер, пытался уловить отголоски присутствия Аленты, чувствуя, что истина находится совсем близко, но что-то мешает увидеть его. Видимо, это был неверный путь. Скажу прямо: многие мои действия не имели даже малого результата. Нелепая закономерность образовалась из череды неудач, следовавших друг за другом после каждого трудновыполнимого действия. Я понял, что метания мои тщетны и разгадать тайну Аленты способен лишь холодный разум, а не авантюрные искания. Но все это было потом, через шесть десятилетий с того самого августа. Я составляю записи, сидя в каморке, которую Толя выделил мне

в качестве временного места обитания. Комнатка узенькая, диванчик в клеточку, но радио имеется, да и окна выходят во двор, что не может не радовать старого безумца. Магнитофон хрипит, выплевывая желчь агонии некогда великого государства, но я заглушаю громкость и мерно вывожу ровные буквы синими чернилами, погружаясь в память детства, когда я был совсем другим.

И все же я наплевал на совесть и спустился к речке. Крутой берег, заросший цветами, кое-где служил пристанищем для ласточек-береговушек, которые бойко выклевывали норки в глиняной массе, создавая целые птичьи колонии. Их чириканье заражало своей веселостью. Стоит упомянуть, что в тот момент я был бос, что, впрочем, не должно показаться странным, поскольку хоть наша семья и была зажиточной по меркам деревни, но в жару вся младшая ребятня бегала босиком. Так я и пробирался по жесткой осоке к воде, где белели заманчивые кувшинки и слышалось мирное журчание спокойной воды.

Я скинул одежду и лягушонком прыгнул в реку, подняв брызги и распугав рыбу. Недолго поплескавшись и несколько раз нырнув, выполз на сушу, ибо времени у меня было немного. Пока я одевался, ничего странного не происходило или же не отложилось в моей детской памяти. Отсчет сумасшествия начался в тот миг, когда я, одевшись, уже начал подниматься обратно в гору. Что-то заставило меня обер-

нуться. Увиденное тогда до сих пор будоражит меня, зачастую являясь в кошмарах, раздирает ветхие преграды, которые я возводил годами. Но тщетно.

Передо мной простиралась высохшая река. Ее обезвоженное лоно, местами каменистое дно, покрытое сухим налетом тины, олицетворяли смерть. Затхлый запах гниющей рыбы ударил мне в нос, от чего я сразу же ощутил невыносимую тошноту. Глаза мои заслезились, и я покачнулся, с неверием разглядывая то, что не могло быть реальным. Пожалуй, я не могу вспомнить зрелище столь же омерзительное и удручающее, хотя позднее мне довелось пережить немало потрясений. Мною овладело оцепенение. Я стоял, рвано дыша, и смотрел, как из массы грязного ила выползает нечто.

Оно не имело первоначальной формы и цвета, представляясь чем-то нереальным, лишенным всяких морфологических признаков. Полупрозрачная субстанция колыхалась, пропуская через себя дневной свет, в её нутре проступали очертания человеческих костей, постепенно становившихся отчетливыми. Затем проявилась красная сетка сосудов, внутренние органы, мышечный каркас и, наконец, кожные покровы. Все это произошло очень быстро, но казалось, что момент появления человека занял часы.

Он стоял посреди углубления, напоминавшего воронку кратера. Его белая кожа с голубоватым отливом отражала лучи солнца, от чего он будто светился изнутри. Это был мужчина европейской внешности, высокий, атлетически сложен-

ный. Волосы его казались седыми, хотя внешний возраст его колебался приблизительно между двадцатью – двадцатью пятью годами. Изначально я видел только его профиль, но, когда его голова медленно повернулась в мою сторону, моему обзору открылась черная татуировка в форме перевернутого треугольника, расположенная под правым глазом и уходящая вниз, к подбородку, я видел её всего пару секунд. Затем, она вмиг побледнела и исчезла, словно впитавшись в кожу. Казалось, он не сразу заметил меня, но, когда его взгляд остановился на мне, я почувствовал, как меня накрыла волна невероятной злобы и ярости. Его мутные рыбы глаза прожигали мое существо, словно он был способен испепелить меня на месте.

Ужас охватил меня. Я хотел закричать, но не мог разомкнуть челюсти. До сих пор перед моими глазами стоит это отрешенное и в то же время озлобленное лицо, будто не принадлежащее человеку.

Не помню, как убежал оттуда, подгоняемый животным ужасом. Мир перед глазами застилала белесая пелена, сквозь неё проступал дьявольский силуэт незнакомца. Мне мерещилось его преследование, хотя сейчас я точно знаю, что он не пошел за мной. Сознание вернулось ко мне уже дома, где я обнаружил себя забившимся под высокую железную кровать. В избе никого не было, и я просидел там до вечера, вздрагивая от каждого скрипа и шороха. Ближе к сумеркам вернулся отец. За ним потянулись и остальные домочадцы,

среди которых был мой загульный братец. Он громко топал ногами по полу и был явно навеселе, по крайней мере, голос его не оставлял в этом сомнения.

Золотистая полоска света скользила по моему бледному лицу, глаза мои слезились, и я всхлипывал, пытаясь сдержать рыдания, чтобы не выдать себя. Мысли путались, и я не мог осознать причину своего поведения, ибо страх не позволял собрать осколки сознания воедино. Я слышал, как трещат дрова в печи, чувствовал жар, исходивший от нее, запах свежих щей и ворчание бабушки немного отрезвили меня, даря ощущение безопасности.

– Где Коля? – услышал я голос матери. – С тобой же был, Жень.

– Сбежал, – в голосе брата ощущалась неловкость, – небось с детьми Шапкиных умотал куда-то.

– Нехорошо, – пробасил отец, явно поглаживая бороду. Ему вторил рёв младшего Митьки, который схватил деревянную ложку и тарабанил ею по столу.

– Не дело это, Жень, – кровать прогнулась под весом бабушки, и я увидел ее старческие ноги, обмотанные грубой тканью, и добротные лапти, которые она поставила на пол, а сама забралась на лежанку, – иди к Володе и спроси у него насчет Коленьки.

– Еще чего! – воспротивился брат. – Сам найдется, прибежит, как проголодается.

Я заскрипел зубами, думая о том, что голод – это послед-

нее, что могло тревожить меня в тот момент. Где-то на периферии сознания маячила мысль предупредить домочадцев об опасности, притаившейся на реке. Однако, несмотря на юный возраст, я уже обладал долей рассудительности, подсказавшей мне, что раз никто из присутствующих не забил тревогу, то, стало быть, сейчас там все в полном порядке. И это значило, что тот ужас лишь пригрезился мне, или же в этом замешаны те самые бесы, которыми бабушка неоднократно пугала меня. И все же в силу детской непосредственности я решил поведать об увиденном.

Ползком выбравшись из-под кровати, я стряхнул пыль с рубахи и виновато посмотрел на отца, лицо которого начало приобретать красноватый оттенок.

– Простите! – я, наконец, дал волю слезам. – Простите! Простите!

Я лепетал что-то бессвязное, пытаясь дать описание тому, что априори не поддавалось логическому обоснованию. Но меня никто не стал слушать, никто не пожелал понять. Сейчас во мне нет обиды, ибо члены моей семьи не относились к высокодуховному типу людей ввиду среды и происхождения, наложившего на них отпечаток обыденности. Меня отлупили и лишили ужина, наградив волной глумления.

– Чудачит наш Колька, – повторяла бабушка, разговаривая с соседкой Любой, – как бы дурной не вырос...

Слухи о моем возможном слабоумии быстро разнеслись по деревне, что вскоре отвратило от меня соседскую ребят-

ню, сделав окончательным изгоем. Никто из семьи не пытался опровергнуть их благодаря стараниям Женьки, который теперь чувствовал себя свободным в своих похождениях и разгуле. Даже если я видел его отлынивающим от работы, то не мог пожаловаться отцу, ибо с того момента мои слова не принимались за правду.

Так Алента определил мою судьбу, раз за разом клеймя меня сумасшедшим, постепенно разрушая мою жизнь, ибо мое знание было ему неуютно.

28 декабря 1990 года. Ленинград

«Почему он не убил меня?» – этим вопросом я не раз задавался на протяжении всей жизни. Пожалуй, только сам Алента мог ответить на него, но в настоящий момент он не сделал этого. Я могу лишь гадать о причинах его поступков, мотивы которых непонятны мне до сих пор. Возможно, в этом состояла какая-то тонкая изощренная забава. Ему нравилась власть надо мной. Так сильный глумится над беспомощным. Он управлял моей жизнью, топил в безумии, вытравливая гордость и прочие качества, что дарованы каждому из нас по праву рождения. Но не всякий может сохранить и развить их, ведь социум отбирает их. Ибо свободный человек, лишенный навязанной идеологии, неуютен по своему определению. Выгоднее иметь раба, а не равного.

Признаюсь откровенно: я был рабом дважды. Родившись рабом государства, я находился в его полноправной власти до семилетнего возраста, но затем я перешел к более могущественному хозяину, который взял за право владеть мной. Он диктовал свою волю незаметно, но я всегда следовал ей, порой добровольно, не понимая, в чьих руках находится моя жизнь.

Алента стоял выше государства. Он не занимал иерархическую или культовую нишу. По своей значимости он превосходил любое религиозное божество, ибо его сущность зи-

ждилась у истоков непознанного Абсолюта. Величие Аленты есть основа существования всего живого, и лишь от него зависит судьба нашей Вселенной. Не побоюсь сказать, что он и есть тот самый создатель, частичка которого присутствует в каждом из нас.

Сейчас я должен рассказать о том, что произошло через несколько месяцев после первой нашей встречи.

Наступила зима двадцать девятого года. Она не была похожа на то недоразумение, которое я бы не побоялся назвать отрыжкой дряхлеющей природы. Иными словами, я не могу описать то жалкое подобие настоящей русской зимы, что наблюдаю сейчас за окном. Не случайно дата написания этих строк совпала с приблизительной датой событий шестидесятилетней давности, происходивших далеко от Петербурга в деревне, которая на тот момент не имела колхоза, но уже столкнулась с таким понятием, как «раскулачивание».

Страсти вокруг моего сумасшествия сошли на нет, ибо произошло несколько происшествий большей значимости. На их фоне глумление над фантазиями мальчишки выглядело по меньшей мере несерьезным. Говорят, правительство специально выбрало это время года для начала процесса ликвидации кулацких хозяйств. Ведь человеческие принципы быстро меняются под гнетом климатических условий.

К тому моменту мы уже привыкли к частым визитам уполномоченных, приходивших зачастую пьяными. Их вороватые морды блестели от самодовольства, когда они садились к нам за стол и требовали отца купить очередные государственные облигации. Отец не противился и покупал бумаги, благо на тот момент денег еще хватало. Мы платили сельхозналог, но не были готовы отдавать хлеб по «пятикратке», что отец прямо высказал на одном из сельских собраний. В ответ над ним посмеялись и посоветовали уехать из деревни, дабы не оказаться без того самого хлеба вовсе.

– Да куда мы уедем? – вздыхал отец, заходя в избу. – Столько крови я вложил в эту землю, а до этого и отец, и дед мои здесь все обживали. Как бросить все это?

– В Новгороде у меня есть родня, – мать суежилась, накрывая стол, – помнишь Лиду, двоюродную сестру по маме? Она давно там обосновалась, замуж вышла за горожанина. У них там и дом есть. Можно ей написать.

– Стеснять честных людей с нашей-то оравой?! – отец стукнул кулаком по столешнице. – Не в том мы положении, Таня, чтобы сбегать, как крысы.

– Детей твоих из школы выгоняют, – подала голос бабушка, лежавшая на печи, – того и гляди, из-за твоего упрямства неучами вырастут.

– Ну и черт с этой грамотой! – Женька вскочил со скамьи. – Вот я аж семь классов закончил, а толку? Пока я зад на математике просиживал, отец один в поле горбатился!

– Школа тебе не помогла, – Настя хихикала, – а вот я люблю учиться, но мне больше не дают, говорят, что я скоро вообще уеду отсюда, а все наше хозяйство передадут в колхоз. Мне еще подписку на журнал предлагали, если я буду рассказывать о том, где у нас золото спрятано. И я не пойму, какое золото? Ведь нет его.

– Плохи дела, – лицо отца помрачнело, а между бровями образовалась складка, – если такие слухи о нас ходят. Придут – все разворошат, а золота не найдут. Значит, во всем нас обвинят, дескать, мы своё богатство от честных людей скрываем.

– Что же делать? – этот вопрос безмолвно витал в воздухе, и никому не требовалось его озвучить.

Во время этого разговора я сидел молча, ибо сказать мне было попросту нечего. Мысли мои занимали проклятая река и странный человек, образ которого частенько преследовал меня во снах. Я больше не рассказывал об этом, считая, что раз уж мне никто не поверил, то пытаться больше не стоит. Иногда ночами я просыпался и долго лежал неподвижно, ловя каждый шорох в ночи. Мне мерещился его бледный силуэт за окном. Казалось, что он все это время находился где-то поблизости, дыша мне в затылок, скрываясь в тени всякий раз, когда я был близок к тому, чтобы его заметить. Я разрывался между двумя крайностями. С одной стороны, пытался вникнуть в житейские проблемы, понимая, что существует угроза более реальная, чем призрачный образ того, кто из-

девался над моим детским сознанием. Но я не мог не думать о нем, ибо, несмотря на страх, я безумно хотел узнать о нем больше. Нездоровое любопытство вызывало во мне странные желания. Я хотел узнать его имя, спросить о том, кто он, откуда пришел и что за странное волшебство в один миг превратило нашу реку в обитель смерти. Но ответы я получил намного позднее.

Неизвестно как сложилась бы моя судьба и судьбы моих родных и какое решение принял бы отец касаясь нашего будущего в тот вечер. Может быть, мы бы уехали в Новгород, к родственникам матери, или же остались в деревне. Но этот разговор состоялся слишком поздно, ибо сугробы во дворе уже скрипели под кожей черных сапогов уполномоченных. И пёс глухо лаял, высунув замерзший нос из будки, предвещая стон деревянных ступеней на резном крыльце, за которым следовал ударный набат, звучащий для каждого кулака подобно реквиему.

– Бам! Бам! Бам! Адаменко, немедленно откройте!

2 января 1991 года. Ленинград

В моей жизни было немало дерьмовых ночей, скажу откровенно. И в своих дневниках я планирую подробно описать каждую из них. Вот же она – первая!

Их было трое. Все в нелепых фуражках и при оружии. Одного из них я знал, это был Тёма из Новой Деревни, давний приятель Женьки. Вместе они ходили на рыбалку с малых лет, учились в одном классе сельской школы и работали тоже вместе. Правда, Тёме повезло значительно меньше, чем моему брату, поскольку судьба не наградила его зажиточным отцом с обширным хозяйством в придачу. Друг Женьки был сыном самогонщика, который относился к низшему классу деревенской иерархии.

Зависть сделала Тёму честолюбивым и охочим до так называемой справедливости. И справедливость эта, по мнению подобных ему, выражалась в стремлении уничтожить наделенных благами. Таких, как он, власть использовала в качестве исполнителей своей воли. А они с радостью играли роль бесплатных палачей.

– Ну-с, – Тёмка снял запотевшие круглые очки и попытался протереть их рукавом тулупа, – нальёшь нам чай или сразу чего покрепче, Матвей Степаныч? Видишь ли, дубак на дворе, а мы с товарищами без лошадей неблизкий путь проделали. Надо бы уважить гостей.

– Гостей, что на ночь глядя без приглашения домой врываются? – процедил отец, тяжелым взглядом скользя по лицам вошедших. – Говорите сразу и по делу или проваливайтесь к чертям собачьим!

– Матвей, не кипятись! – вскрикнула мать, заламывая руки. – Сейчас, сейчас, присаживайтесь! Я как раз на стол накрывала! Настасья, не стой столбом и помоги мне!

Тёмка и его товарищи уселись за стол, не снимая шапок. Было видно, что, несмотря на внешнюю браваду, они испытывают долю смущения, хотя, вероятно, мизерную. Мать носилась по избе, расставляя кружки и тарелки, а один из Тёмкиных спутников как-то ревностно разглядывал наш начищенный самовар, отражавший блики вечерних лампад.

– О! – Тёмка усмехнулся, проследив за его взглядом. – Помнишь, я тебе, Гриша, рассказывал о том, что есть в этой деревне люди, начисто потерявшие совесть?

– Знамо дело, – носатый Гриша отправил в рот кусок картошки, – кучка врагов народа жирует, пока вся остальная страна голодает.

– Да, кулацкие собаки, аж трех категорий, – Тёмка ударил кулаком по столу, устремив на отца взгляд, полный ненависти, – знаешь ли ты, Степаныч, по каким признакам эти категории формируются? И кто отвечает за это?

Отец молчал, но молчание это производило впечатление более красноречивое, нежели грубость, произнесенная вслух.

– Сказать нечего? Оно и правильно, – Тёмка завозился в карманах, ища папиросы, – разговор у нас, Степаныч, будет короткий, но продуктивный, – достав из кармана мятую пачку, он вытащил сигарету и прикурил с настольной свечки. Я закашлялся от едкого дыма, потянувшегося в мою сторону, что вызвало приступ веселья у незваных гостей. Я и Митька стояли у печки, на которой лежала бабушка, побледневший Женька застыл подле отца, в бешенстве взиравшего на Тёмку.

– Дело вот в чем: у меня на руках имеется постановление, подписанное лично главой областного комитета Чайкиным. З. В. Бумага эта официальная, и на подпись её передали, заметь, только после проведения открытого голосования, где 64% проголосовали за присвоение кулаку Матвею Степанычу Адаменко второй категории. Братьям его, Андрею и Василию, – третью категорию. Данная мера распространяется на всех членов семей вышеупомянутых кулаков. Попавшие под вторую категорию не подлежат физической ликвидации. Но имеют обязательство покинуть территорию прежнего места жительства, предварительно передав все имущество в распоряжение колхоза. В случае отказа выполнить требования уполномоченных должностные лица вправе использовать оружие для устранения всех несогласных. Поскольку любое препятствование постановлению Политбюро ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» расценивается

ся как контрреволюционная деятельность. Ясно вам? – Тёма утопил хабарик в кружке и бросил бумагу на стол. – Контрреволюционеры хреновы! Тьфу, уроды, – он харкнул на пол.

– Как же вы... – отец закашлялся и пошатнулся, – Тёма... стало быть, ты нас так всегда ненавидел?

Тёма не ответил и отвел глаза, напуская на себя равнодушные. Его спутники поднялись и стали ходить по избе, с интересом осматривая каждый угол. Гриша подошел к самовару и протянул к нему руки, увидев это, Женька сделал шаг вперед, но был остановлен рукой отца.

– Не надо, хуже будет.

– В корень зришь, Степаныч, – Тёма скинул покрывало с сундука и, открыв его, стал рыться в мамином тряпье, – ай, сколько юбок, и для троих-то баб? Не стыдно ли, Татьяна? Могла бы хоть соседям отнести, вон, моя сестра в обносках ходит перештопанных, в то время как вы удерживаете излишки.

– Ты еще про хлеб не упомянул, – пробасил второй рыжеватый уполномоченный, – кулак жаден до всего, даже последнее зернышко за щекой спрячет, лишь бы бедноте не досталось.

Мать заплакала, прижимаясь к отцу. Тот обнял ее и гладил по голове, а Женька в это время продолжал белеть от ярости, готовый в любой момент броситься с кулаками на давнего друга. Мы с Настей и Тёмой смотрели на бабушку, которая молчала на протяжении всего действия. Но, когда

резвый Гриша опрокинул сундук, вываливая из него ворох одежды, она с трудом села, свешивая с печки опухшие ноги.

– Неужели ты, Гришаня, будешь нижние юбки пересчитывать?

– Пересчитаю и в отчете запишу, – пробормотал носатый, не глядя на бабушку, – все по протоколу.

– Ах, не обрадовалась бы Агафья, твоя бабка, будь она жива, – усталые глаза бабушки увлажнились, – я её очень хорошо знала, да и отца твоего. Когда ты был маленький, частенько просил у меня малины из огорода, когда я приходила к вам. Ты навряд ли помнишь, годка два тебе было от силы. Потом вы уже в Полу уехали, но я тебя сразу узнала, как только ты вошел, очень уж на бабку свою похож...

Гриша замер, глядя в одну точку. На кончике его мясистого носа застыла капелька пота, он схватил белую женскую сорочку и, скомкав её, вытер красное лицо. Затем он отшвырнул её и, приподнявшись, подошел к ней.

– Старая, – прохрипел он, приближаясь почти вплотную, – молчать бы тебе лучше.

С этими словами он дернул её за локоть, одним рывком сбросив с печи. Бабушка охнула. Она свалилась на бок, ударившись виском о печной выступ, сквозь её белый платок стало стремительно проступать багровое пятно.

В избе поднялся крик. Женька с неистовым рёвом бросился на Гришу, сбивая того с ног. Они грохнулись на деревянный пол, рыча и перекатываясь. Подгоняемый яростью,

Женька оседлал своего противника, сдавливая сильными руками его горло.

– Сволочь! – рычал он, сжимая хват. – Убью!

Гриша что-то хрипел, пытаясь сбросить обезумевшего Женьку, но физически он все же был слабее моего брата. Он только и мог тщетно молотить кулачками по плечам Женьки, сипя ругательства посиневшими губами. Возможно, убийство бы и вправду состоялось, но подлое вмешательство Тёмы оказалось для моего брата роковым. Бывший друг сумел воспользоваться царившей вокруг суматохой и, подкравшись, всадить кухонный нож в его открытую шею.

В тот миг все затихло. Вязкий холод охватил меня, скрывая сознание и тело. Перед глазами все помутнело, постепенно обретая тот самый проклятый красный цвет. Будто кровь моего брата, покидая его тело, растворялась в воздухе, окрашивая его в багровые тона. Сквозь толщу забвения до меня донесся крик матери. Этот мучительный вопль, переходящий в рыдания, тонул в булькающем хрипе агонии умиравшего Женьки. Я пытался закричать, но рот мой так и не открылся. Немота парализовала меня, заставляя впервые в жизни увидеть человеческую смерть в самой её отвратительной и порочной форме.

Я не помню, что происходило дальше, ибо детская память избирательна. Смазанные сцены горя, насилия и отчаяния кажутся сейчас лишь фрагментами далекого сна. Тогда я испытал слишком много страха, заставившего меня изменить-

ся, а может, я просто сошел с ума.

7 февраля 1991 года. Санкт-Петербург

Февраль. Этот месяц кажется мне особенно противным. И дело даже не в мокром холоде, что по ощущению своей мерзости сопоставим мало с чем. Хотя он, может, и является причиной общей обреченности, царящий абсолютно во всём. Порой начинает казаться, что город погружается в меланхолию, за которой неминуемо последует массовое самоубийство, ибо тоска здесь правит невероятная. Я привык отгонять эту заразу при помощи работы, ну, иногда и это не помогает. Тогда я опять лезу за алкогольной записочкой Толи. Мы пьем вместе, без лишней расторопности и чопорных разговоров. Нам не нужно понимать друг друга или же задавать бесполезные вопросы, ибо жизнь сделала нас обоих третьими сухарями, не способными к проявлению даже малого интереса к обыденности. Ему все равно, что я пишу. А мне плевать на его политические взгляды или же, вернее, их отсутствие. Так и живем мы уже много лет: друзья, ставшие коммунальными соседями.

Итак. В феврале 1930 года я оказался в самом плачевном положении. Семья наша потеряла всё. После убийства Женьки, ставшего следствием его непокорности, уполномоченные арестовали отца, что приравнивало его к первой категории кулаков-контрреволюционеров. Отца отправили в Си-

бирь на лесоповал. Семья наша потеряла двух мужчин, способных работать, и получилось так, что бремя ответственности легло на плечи матери.

Нам не дали попрощаться с Женькой, не позволили помочь бабушке, которая была еще жива, Тёмка оборвал её мучения одним ударом. Братьев отца выслали из деревни в этот же вечер, и мы не знали, где они. Дом разорили и сожгли, скот и запасы разошлись по соседям, которые искренне считали, что по новому закону все имущество раскулаченных теперь находилось в коллективной собственности и греха в этом не было. Нам не дали их похоронить, не дали забрать тёплые вещи из дому.

Нас выдворили на улицу. Несчастные, полураздетые и голодные, мы долго бродили от дома к дому в надежде найти хоть временное пристанище. Подробности первых недель после раскулачивания я помню очень слабо. Мы ночевали где попало и ели что попало, полагаясь на сердоболые людей, которые принимали нас. Затем мама сумела получить разрешение перебраться в пустующую избу на окраине Новой Деревни. Там мы и обосновались на ближайшие месяцы.

Голод стал мне привычным. Мы с Настей каждый вечер ходили по соседским домам, прося еды. Иногда удача благоволила нам, и мы получали молоко, которое мы взяли за правило отдавать Митьке, ибо он в силу своего малого возраста страдал больше всех. Все мы изменились до ужаса, поскольку детство покинуло нас непозволительно рано. Мы

стали тихими и недоверчивыми. Не до конца понимая смысл происходящего, я лишь чувствовал тупую боль от злостной несправедливости, с которой я не мог бороться. Железные двери красной тюрьмы захлопнулись передо мной, закрывая моё сознание от остального мира.

Другая беда пришла спустя месяц. Нам принесли бумагу из колхоза, где было написано, что мы обязаны сдать определенное число продуктов и шерсти в оплату за проживание. Мать тогда плакала невыносимо, умоляя этих свиноподобных шавок пожалеть хотя бы детей.

Но они вновь прогнали нас на улицу. На сей раз мать приняла решение отправиться в Новгород к той самой сестре, несмотря на то что та не отвечала на её письма. Тогда я не понимал, насколько мы рисковали, преодолевая пеший путь до другого поселка, где находилась железнодорожная станция.

Тогда стоял март. Мы покинули дом еще засветло, по моим тогдашним ощущениям, стояла глубокая холодная ночь. Луна не освещала заснеженную дорогу, окруженную глухим лесом. Непроглядная чернота была повсюду, она давила на нас, вызывая страх и отчаяние. Я шел позади мамы, держась за её юбку, а Настя шла рядом с ней. Митьку мама несла на руках, он не спал. Лишь молча смотрел на меня через материнское плечо, и во взгляде его читалась меланхолия, не свойственная детям. Несомненно, тогда он понимал практически все происходившее с ним.

Так мы брели, утопая почти по колено в твердеющих сугробах, трясясь от холода и ледяного ветра, пробиравшего до костей. Кажется, я был сильно простужен. Уши мои болели, и голова была наполнена ватой. Но я научился не обращать на это внимания и просто шел, шаг за шагом, понимая, что упасть я не могу.

Черт знает каким чудом мы сумели добраться до станции, оставив позади дорогу длиной в десяток километров. Когда бледно-розовые лучи рассвета коснулись белой земли, мы сели в сани к одному мужику, который в обмен на мамино обручальное кольцо согласился подвезти нас до Старой Русы. Ехали мы почти весь день, продолжая изнемогать от холода и голодной боли в сжавшихся желудках. Но Митька так и не заплакал и не попросился домой. Сестра тоже молчала. Она куталась в старый шерстяной платок серого цвета, местами прохудившийся. Её светло-русые волосы казались тусклыми, худое лицо давно перестало быть красивым, да и глаза утратили прежнюю веселость. В десять лет Настя превратилась в маленькую старушку, а я, в свою очередь, был таким же тощим старичком, преждевременно уставшим и понимавшим слишком много.

В Русу мы прибыли поздно вечером. Меня тошнило от голода, кружилась голова. Мама договорилась с какой-то тёткой, которая согласилась принять нас на ночь у себя, так сказать, из скрытой симпатии к контрреволюционерам. Женщина накормила нас и разместила в сенях своей избы. Мы спа-

ли на овчине, прижимались друг к другу, дрожали и растирали ладони, ловя слабые отголоски печного тепла из соседней комнатухи. Нам перепало немного картошки. Маленький Митька схватил её тонкими ручонками и принялся грызть, слюнявя её в таком исступлении, словно это было диковинное лакомство.

Наутро мы снова тронулись в путь. Муж тётки вызвался помочь и навёл нас на какого-то цыгана-полукровку, который возил в Новгород хлеб. Кажется, его звали Вовка. Его красное лицо с невыразительными поплывшими чертами слабо запомнилось мне. Больше в моей памяти отпечатался дурной запах, буквально прошибавший ноздри. Но, несмотря на вонь и другие мелкие недостатки, цыган оказался вполне сговорчивым. Не знаю, на каких условиях он согласился довезти нас, ибо ни денег, ни других ценностей мы к тому времени не имели.

Новгород мне не понравился. Он показался мне каким-то грязным или даже бездушным муравейником, разительно отличавшимся от родной деревни. Улица Добрых детей осталась за километрами кровавого снега, протоптанного ногами обездоленных. Серые дома теснились вдоль относительно широких улиц, пропитанных всяческими нечистотами, по которым шагали такие же серые несчастные люди и вяло тянулись повозки с тощими лошадьми. Всюду сновали представители новой власти. Их я боялся и старался всякий раз прятать глаза, когда кто-то из них проходил мимо.

Тогда я был настолько уставшим, что не испытывал никаких переживаний относительно своей судьбы. Умереть я тоже не боялся, потому что на фоне пережитых потрясений страх перед возможной кончиной отупляется настолько, что смерть казалась чем-то обыденным.

Наши родственники жили на окраине. Сейчас на этом месте находятся два вокзала, являющиеся наиважнейшими точками автобусного и железнодорожного сообщения, по которым ежедневно проносятся электрички и товарные поезда. Расходятся в разные стороны дряхлые автобусы, бесконечно регулирующие бесконечный круговорот дачников по маршруту «деревня – город». Там до сих пор осталось несколько одноэтажных хибарок, построенных в настоящем старонородском стиле. Их стены выкрашены белой краской, окна маленькие, крыши темные.

В одном из этих домиков и жила мамина двоюродная сестра – Лидия Никитична. К этой женщине по сей день у меня неоднозначное отношение. Она много улыбалась, но улыбка её не вызывала тепла, в разговоре с ней возникало много пауз, и радость её во всем казалось напускной. Это я почувствовал практически с первых минут знакомства с ней.

– Какое горе! Какое горе! – она обняла мать, которая покачнулась и едва стояла на ослабевших ногах. – Что же ты, дорогая, сразу не приехала?!

– Да как же я могла приехать, если ты на мои письма не отвечала?

Румяное лицо тётушки приобрело задумчивое выражение.

– Писать-то ты, может, и писала, но никакой почты от тебя уже полгода не приходило. Видимо, – она понизила голос, жестом приглашая нас зайти в дом, – видимо, кто-то постарался, чтобы они не дошли. Ну, проходите-проходите, у нас, конечно, не хоромы, но для родни место всегда найдётся.

Дом в действительности оказался весьма просторным. Он состоял из двух больших комнат, в одной из которых была печь, и узкой подсобки, где хранились кухонная утварь и прочий полезный хлам. Помимо Лидии Никитичны, в доме обитали двое её сыновей лет двенадцати. Румяные, пухлые мальчишки взирали на нас с недоумением и переводили вопрошающие взгляды на хозяйку.

– Знакомьтесь, Витя и Лёня, мои младшие, еще есть дочка Марья, она придёт вечером.

– Кто это, мама? – задал вопрос один из мальчуганов, тыкая пальцем в мою сторону. – Они какие-то хворые, может, и нас заразят.

Та злостно шикнула и погрозила кулаком.

– Не обращайтесь внимания и проходите, сейчас я что-нибудь к обеду соображу. Ты пока в малой комнате размести ребятшек своих, младшего спать сейчас уложим.

Митька издал протестующий вопль, в котором угадывалось вялое подобие фразы «не хочу». Мать покачала головой и взяла его за руку.

– Пойдём, Мить, пойдём. Не устал разве?

Он заревел еще громче и вцепился в мамину юбку, обхватывая её колени. Настя попыталась оттащить его, вызывая тем самым ещё больший поток рыданий.

– Голоден, – тётка зацокала языком, – есть у меня козьё молоко, как раз на такой случай.

– Не стоит, Лид... – однако мама не успела закончить препятствующую фразу, поскольку её сестра лихо развернулась и ринулась прытью в соседнее помещение, что казалось невозможным при её чрезмерной дородности.

Скоро она вернулась, держа в руках деревянную кружку, и протянула её маме.

– Чудная ты стала, Танька. Неужто подумала, что я для близкой родни паршивого молока жалеть буду?

– Нет, что ты, – мама присела на скамью и посадила Митьку на колени, – просто неудобно как-то.

Тогда я почувствовал себя странно. Будто во мне самом поселилось то самое «неудобство», толкавшее меня как можно дальше из этого дома. Говорят, что дети способны понимать гораздо большее, нежели представляется потасканному поколению приматов. Скорее всего, так оно и есть, по крайней мере, я сумел уловить удушливые пары фальши, затронувшие моё естество на уровне тончайшего восприятия.

28 февраля 1991 года. Санкт-Петербург

В Новгороде мы прожили около двух месяцев. Возможно, моя семья оставалась там гораздо дольше, вплоть до войны. Может, Настя с Митькой обосновались на новом месте, приобретя официальный статус горожан, после того как спустя несколько десятилетий была объявлена полная амнистия всех кулаков. Во мне есть странная, ничем не подкрепленная и одновременно титанически непоколебимая уверенность, что они не стали жертвами того рокового случая. Хотя слепая вера в лучшее редко находит реальные оправдания, поэтому я боюсь правды и не стремлюсь отыскать информацию о них.

Наши пути разошлись весной, предположительно, в конце апреля. К тому времени жизнь наша улучшилась настолько, насколько это было допустимо в тогдашних условиях. Муж тётки оформил маме поддельную справку, по которой она имела другое имя и статус, лишенный даже малого намека на принадлежность к сословию отчуждения. Она устроилась на работу в прачечную при больнице, что позволяло нам иметь хоть малые деньги для основных нужд. Жизнь с тёткой не ладилась, и я чувствовал, что, несмотря на мнимое радушие, она не питала добрых чувств к матери, что проявлялось в косых взглядах и напряженно поджатых губах. Её

дети сторонились нас, а мы, в свою очередь, боялись их, полагая, что они способны в любой миг совершить какую-нибудь подлость. Муж Лидии Никитичны был из первого поколения городских переселенцев. Он был тучен и важен, вместо бороды носил густые усы, сквозь которые то и дело проступала угодливая ухмылка. Кажется, мы называли его дядя Паша, впрочем, черт с ними со всеми!

Мама хотела, чтобы мы с Настей пошли в школу. Я по наивности был обрадован этим фактом, в отличие от сестры, которая уже имела за плечами весьма негативный опыт, связанный с образованием.

– Помни, Коленька, грамотность еще не раз пригодится, – приговаривала мать как-то поздним вечером, когда она пришла с работы и я был единственным, кто не спал, дожидаясь её, – умный человек не тот, кто прочитал много, а тот, кто знает мало, но может это правильно использовать.

– Женька не был умным? – в моем горле застрял ком, и голос мой задрожал. – Поэтому его убили?

Мать молчала какое-то время. Её сгорбленный силуэт, скрюченный в свету керосиновой лампы, отпечатался в моей памяти навсегда. Возможно, именно в тот момент я начал понимать эту женщину, непомерно несчастную, но в то же время сильную.

– Его убили, потому что он не был трусливым, Коленька, ты тоже не будь, но при этом ты должен стать умнее своего брата. Только тогда смерть обойдет тебя стороной.

В тот миг во мне что-то надломилось. Да, я знаю, мама не стремилась напитать эти слова колоссальным смыслом, скорее всего, она произнесла их импульсивно, не помышляя о том, что давала мне последнее наставление.

После этого мы легли спать. Лампа потухла, и лишь бледная полоса печного пламени проглядывала сквозь ночную черноту. Угли уже тлели, изредка потрескивая. Настя спала рядом со мной, обнимая меня одной рукой. А я не мог закрыть глаза, пребывая в плену смутного страха, внушаемого мне неизвестным существом. Несмотря на пережитый ужас, я не мог забыть его холодные белые глаза, искрящие первобытной ненавистью. Его злоба была осязаемой, я ощущал её раскалённые пути сквозь временную толщу, не в силах выбраться из этого мертвящего кокона. Болезненный сон встретил меня тревожными картинками. Я видел мёртвого Женьку, стоявшего рядом с моей кроватью. Из уголков его поникшего рта стекала чёрная кровь, он молча глядел в пустоту, сквозь меня, и не шевелился, подобно статуе Каменного Гостя*.

Глаза мои были открыты, и я тоже смотрел на него, чувствуя, как слёзы бегут по моему лицу. Я протянул к нему руку, но она прошла сквозь него, разгоняя образ усопшего, как туманную дымку.

– Ты должен быть умнее, – вдруг заговорил Женька, так и не глядя на меня, – только тогда ты не станешь как я.

– Но как? – я шептал, захлебываясь слезами. – Что мне

делать, братишка?

– Нельзя оставаться здесь, – голос брата тонул в булькающих звуках, и кровь продолжала течь из его рта, – уходи отсюда, Коля, уходи сейчас же, иначе ОН убьёт их всех. Неужели ты не понимаешь? Он жаждет твоего одиночества!

– Белый человек? – я в неверии распахнул глаза. – Ты знаешь его?

– Знаю, – брат хрипло раскашлялся, – я не могу рассказать больше, просто верь мне и беги отсюда.

Его холодная рука схватила меня за запястье, рывком поднимая с лежанки. Он зажал мне рот ладонью, заглушая крик.

– Уходи, Коля! – он толкал меня к входной двери. – Он слышит нас, он видит нас, ты не спрячешься от него, даже умерев, но ты можешь спасти тех, кто еще жив.

– Кто он? – я вырывался, пытаюсь сбросить с себя ледяные руки мертвеца. – Скажи мне!

Женька накинул куртку на мои плечи и пихнул ботинки одного из детей хозяйки. Я нехотя надел их, при этом продолжая беззвучно реветь и трястись.

– Он – тот, кто владеет нами, но не показывает этого. И только единицы из нас могут узреть его истинную форму, что вызывает его гнев. Ты оказался одним из тех несчастных, кому уготована участь беглецов. Ты будешь убегать всю жизнь, брат мой, ты не найдешь покоя, даже если умрёшь, но это случится очень нескоро, потому что он хочет видеть тебя живым. Верь мне, Коля, верь мне и беги подальше, ту-

да, где простираются огромные города. Там ему будет сложнее найти тебя! Затаись в самых недрах гигантского муравейника, среди похожих на тебя детей. Найди новую семью и не говори им о своём прошлом. Живи в постоянном страхе и будь готов, что в любой момент он появится для того, чтобы вновь обратить тебя в бегство. Не возвращайся сюда, забудь о родных и не ищи их даже спустя годы, ибо он будет ждать этого. Уходи, Коля! Уходи и знай, что ты больше не увидишь меня.

Едва закончив говорить, Женька толкнул дверь, отворяя путь в ночную черноту. Но тьма эта вмиг рассеялась, ибо силуэт бледного седого мужчины возник у порога. Я хотел закричать, но брат вновь зажал мне рот ладонью.

Человек был одет в длинное тёмное пальто, на фоне которого его кожа казалась белее снега. Его пустые глаза впились в меня, и тонкий рот расплылся в злой ухмылке. Он сделал шаг в мою сторону, но Женька успел захлопнуть дверь, за секунду до того, как тот успел войти в дом.

– Давай, давай, через окно! – шептал он, толкая меня в сторону сеней. – Я выиграю для тебя время, а ты беги подальше от города и ищи способ попасть в Ленинград! Помни мои слова, Коля, и верь в то, что я сказал.

Он отворил скрипучие ставни и, схватив меня, брыкающегося и рыдавшего, в охапку, пропихнул в окно. Я вывалился на улицу, больно содрав себе ладони при падении.

С трудом поднявшись, я бросился к забору и перемахнул

через него, оцарапав ногу о ржавый гвоздь. Однако я сдержал крик боли и не стал мешкать, пытаюсь перевязать глубокую рану. Хромающей походкой я ринулся прочь от дома, не оглядываясь и не помня себя от леденящего ужаса. За спиной я услышал сдавленный вой, похожий на скулеж подстреленного пса, затем что-то загрохотало, после чего воцарилась глухая тишина. Я долго бежал, минуя спящие улицы, провожаемый редким лаем сторожевых собак, разбуженных моим топотом.

Стук сердца отдавался в ушах набатом, глотка горела огнем, ноги тяжелели от усталости, напоминая о том, что я всего лишь ребёнок и выносливость моя не безгранична.

– Беги, беги, Коля, – шептал кто-то за моей спиной.

И я бежал, надрываясь, но не падая, подгоняемый той странной силой, побудившей меня к бегству от неизвестного.

Не помню, как долго продолжалось это безумие. Время стало пластичным, то замедляясь почти до полной остановки, то бросаясь галопом, несло меня сквозь темноту к свету. За эти несколько часов я так и не оглянулся назад.

2 марта 1991 года. Санкт-Петербург

Больше я не видел свою семью и не могу сказать ничего относительно их дальнейшей судьбы. Я до сих пор остаюсь верен наставлениям усопшего брата, ибо в дальнейшем мне не раз приходилось убеждаться в их правдивости. Я не верю в призраков, я отрицаю Бога и склоняюсь к тому, что в ту ночь ко мне явился вовсе не Женька, а нечто иное, некое подобие высшего Провидения. Или же то была очередная насмешка Аленты, судить я не берусь.

После ночного бегства я долго приходил в себя, укрывшись в сарае около заброшенного коровника. Рядом пролежала большая дорога, по которой то и дело проносились товарные повозки и грохотали большие автомобили. Я старался не думать о родных, ибо печальное лицо мамы представляло перед моими глазами столь явно, что я не мог сдержать новый приступ рыданий.

Так я просидел весь день, пока чувство голода и холод не выгнали меня на улицу. Я брёл вдоль дороги, втайне надеясь, что кто-то из проезжавших пожалеет меня и подвезёт до города. Я не знал, в какую сторону идти, не знал, где находится тот загадочный Ленинград, о котором я раньше никогда не слышал. Так я шёл, едва переставляя ноги и чувствуя, что вот-вот упаду. Сумерки уже окутали серые поля, и холодный туман парил над девственной землёй, укрывая её

нежным пухом. Из моего рта вырывался холодный пар, я перетирал ладони, пытаюсь сберечь частичку телесного тепла.

Наконец, за моей спиной послышались цокот и скрежет старой телеги. Кто-то свистнул. Я замер и только спустя несколько мгновений обернулся, с опаской разглядывая того, кто мог оказаться врагом.

Это был молодой человек, вероятно, одного возраста с Женькой. В темноте я не мог разглядеть его лицо, но силуэт его показался мне вполне безобидным. На нем была кепка с коротким козырьком, сдвинутая набок, лицо под ней было круглым, хотя сам парень казался весьма тощим.

– Что здесь забыл, а, малой? – его голос был пропитан бодростью и ненапускным радушием.

– Беда со мной, – я отвечал с трудом, всхлипывая.

– Потерялся что ли?

– Не знаю, дяденька, – в действительности это не было ложью, поскольку я и вправду не мог дать описание своему плачевному положению.

– Как не знаешь? А родители твои где?

– Не помню.

Тот вновь присвистнул и покачал головой.

– Стало быть, тебе по голове прилетело, а, малой? И что делать теперь будешь?

– Не знаю, – я посмотрел под ноги, чувствуя, что лицо моё заливаётся краской, благо в темноте этого было не видно.

– М-да, парень, беда с тобой, – он спрыгнул на землю и по-

дошел ко мне, приподнял за подбородок, заглядывая в глаза.

– Вроде не помешанный, глаза ясные, значит, и вправду по голове ударили. Скажи мне вот что: имя своё хоть помнишь? И откуда родом?

– Имя помню, – я нервно сглотнул, – Коля.

– Это уже что-то, авось потом и остальное вспомнишь! Меня Юра зовут, Юра Сизнев из Малой Вишеры. Тут это совсем близко, но сейчас я еду оттуда в Ленинград, хочу там на работу устроиться, здесь в деревнях уже нет шансов прокормиться даже одному, а у меня еще мамка больная дома, почти не встает.

Он присел на корточки, равняясь со мной в росте, и запустил пятерню мне в волосы, ероша их мозолистыми пальцами. Я всхлипнул, вновь опустив глаза. Меня продолжало трясти, и я чувствовал, что близок к нервному обмороку.

– Поехали, малой. Я для тебя куска хлеба не пожалею, – он ненадолго замялся, – совесть во мне есть, хоть проку от неё никакого в наши-то дни. Помереть же тебе я не позволю.

Юрка дёрнул меня за руку, вырывая из оцепенения.

– Залезай давай!

Так случайность спасла мою жизнь. Юра не был глупцом, хотя на первый взгляд моё мнение оказалось противоположным. Да, он был груб и прост в общении, нередко бранился и отвечивал весьма грязные шутки, на тот момент не вызывавшие у меня особого веселья. Но в определенные моменты он становился серьёзным и был способен рассуждать здраво.

Милосердие было ему свойственно.

– Не могу понять одного, малой, – он мял зубами самокрутку, – отчего ты такой спокойный? Другой бы на твоём месте вопил бы, как резаный поросенок, а ты будто взрослый для этого. Лет тебе сколько?

– Восемь, – хрипло ответил я, – кажись, в феврале родился, день не помню.

– Это не дело, надо знать день своего рождения. Важная эта штука, Коля, без неё ты не сможешь идти по жизни уверенно.

– Значит, надо выбрать день, – я пожал плечами, – все равно какой.

Юра призадумался.

– Сестра моя тоже в феврале родилась, семнадцатого числа, давай тебе тоже этот день назначим... Она с того света жадничать не будет.

– Пусть будет семнадцатое, – я закивал без особого энтузиазма, – длинное число, не сразу запомню.

– Цифры в школе не учил?

– Не помню.

– Плохо дело, – Юра вновь взлохматил мои волосы, – я, знаешь, что думаю, к утру доберёмся до города и отведём тебя напрямик в милицию, там они тебя зарегистрируют как настоящего человека, а потом в интернат определяют или ещё куда. В школу пойдёшь, друзья новые появятся, а там и дело за малым. Родные твои найдут тебя... Если живы, конечно, –

пробормотал он уже тише.

– А если умерли? – спросил я так же тихо.

– Тогда оставаться тебе в интернате, куда не повзрослешь, потом тебя на работу определяют, получишь партбилет, а оттуда все вытекающие. Судьба твоя удачно сложится, ты только не убегай никуда и не забывай ничего.

Я задумался, глядя в темноту. Перед моими глазами вновь воскресло белое лицо умершего брата, шептавшего свое по-стороннее наставление: «Живи в постоянном страхе и будь готов, что в любой момент он появится для того, чтобы вновь обратить тебя в бегство. Не возвращайся сюда, забудь о родных и не ищи их даже спустя годы, ибо он будет ждать этого».

– Я буду вести себя хорошо, – тихо сказал я, глядя в пустоту немигающим взглядом, – буду очень хорошим.

Цокот лошадиных копыт, скрип колес и монотонное постукивание деревяшек убаюкивали меня. Я прикорнул, устроив голову на тёплом плече Юры, и не заметил, как провалился в глубокий и беспокойный сон, в котором я видел белого человека, стоящего на берегу высохшей реки.

12 марта 1991 года. Санкт-Петербург

Ленинград не был очередной промежуточной точкой в череде моих странствий. Напротив, этот величественный город принял меня на долгие годы, став второй родиной, подарившей мне очень многое. Не скажу, что северная Пальмира, к тому моменту истерзанная и потрясённая, встретила меня радушно. Город показался мне непомерно огромным и до жути враждебным. Я не привык к масштабам колосса, что вызвало у меня панику и желание убежать как можно дальше отсюда, найдя убежище где-нибудь в глуши. Но сделать этого я не мог, поскольку Юра, предвидя мою панику, следил за мной неусыпно, возможно, испытывая чувство ответственности за мою нелёгкую судьбу.

– Не пугайся, малой, – от трепал меня за щёку, излучая тошнотворное радушие, – сейчас соображу нам пожрать, а потом сразу отведу тебя в участок, побуду, так сказать, ответственным гражданином, – он почему-то засмеялся, словно не веря собственным словам.

– Мне страшно, Юра, – я указал дрожащим пальцем на мост, – почему здесь всё такое большое?

– Это, Коля, результат людского труда, – его голос стал серьёзнее, – все правильно, ты должен трепетать и благоговеть от этой мощи. Это при царях такие вещи строились, а теперь и вовсе невиданное будут творить добровольными усилиями

всего народа. Мы с тобой живем в непростое, но интересное время, и я верю, что нам многое предстоит узнать и увидеть.

– Что же?

– Рождение новой страны, Коля, тебе еще об этом расскажут так, чтобы было понятно. Я-то не мастер объяснять детям такие сложные вещи, видать, потому что сам плохо разбираюсь в делах политики.

Слушая его вполуха, я наблюдал за окружающей обстановкой, пытаюсь свыкнуться с ней и прочувствовать особую ауру постреволюционного Ленинграда, вкус которой я не способен описать словесно. Да, он был отчасти противным. Многолюдные широченные улицы, именуемые проспектами, грязные фасады с вычурной лепниной, автомобили и повозки, трамвайные гудки и запах тухлого мяса. Всё это запомнилось мне столь явно, что спустя многие годы, когда мне доводится гулять по Невскому проспекту, я представляю картину иной разрухи, отличной от нынешней.

Юра накормил меня гадкой похлебкой и отвел в отделение милиции, где я пережил несколько малоприятных часов. Тщедушный участковый с желтоватым лицом долго разглядывал меня и морщился, словно его мучила зубная боль. Потом он переговаривал о чем-то с Юрой и ходил туда-сюда, громко топая лакированными сапогами по грязному паркету.

– Стало быть, потеря памяти? – его писклявый голос резал уши, – но для этого нужны доказательства.

Юра лишь развёл руками, оглядываясь на меня.

– А как доказать-то?

– В этом и заключается огромная проблема, – участковый сел за стол, доставая чистую бумагу, – не буду же я отправлять запрос в больницу ради одного мальчишки. Не положено, и точка!

Я попытался вмешаться и убедить желтолицего, что в этом нет никакой необходимости и я абсолютно здоров, но Юра пихнул меня в бок, погрозив пальцем.

Тем временем участковый калякал что-то пером, морщась в искреннем недовольстве.

– Вот, – он пихнул мне бумагу, – на Чёрной речке есть интернат, адрес точный указан в титуле запроса. Покажешь эту бумагу Евдокии Петровне Малютиной, она там заведующая, она и определит, принимать тебя или нет.

– А родные его как найдутся?! – Юра повысил голос. – Искать будете?

Участковый фыркнул и забарабанил пальцами по столешнице, нервно поглядывая на портрет Вождя на стене.

– Пока что нет возможности для подобного мероприятия. Общественная обстановка для этого не располагает, знаете ли, ради каждого мальчишки отрывать людей от более важной общественной работы.

Юра фыркнул и, процедив слова понимания, схватил меня за рукав и поволок на выход, попутно изрыгая ругательства в адрес бюрократической прослойки социализма.

– Поганство! – он пнул ближайший обломок кирпича, когда мы были уже на улице. – И не сделаешь ведь ничего! Не возразишь им! Поглядите, – он вырвал бумажку из моих рук, – вот вся их хваленая помощь честным людям! Тьфу! – он сплюнул.

– Не сердись, – я потряс его за край куртки, – я поеду в интернат, и ничего страшного со мной не будет. Родные мои скорее мертвы, чем живы.

– Ах, малой, слишком просто ты от них отказываешься, – в голосе моего спутника сквозила горечь, – слишком просто.

– Я их не помню, – я отвел глаза, стараясь не заплакать, – совсем не помню.

– Темнишь, Коля, – от него не укрылась боль в моём голосе, – сдаётся мне, что все ты помнишь, только рассказать не можешь.

Я заревел, бросаясь к нему в объятия. Юра обнял меня в ответ, легонько поглаживая по волосам.

– Не расскажешь?

Я в отчаянии замотал головой, рыдая еще громче.

Юра больше не говорил ничего, лишь усадил меня в повозку, намереваясь отвезти туда, где нам предстояло расстаться. Мы ехали молча, каждый думая о своём. Я пытался собрать в кучу обрывки спокойствия, ибо моё душевное состояние пребывало в хаосе. Мой попутчик, вероятно, гадал о мотивах, толкнувших меня на сокрытие столь важной информации. Юра искренне не понимал, что могло побудить

ребенка скрывать наличие такого базового фактора жизни, как память.

Спустя пару часов мы добрались до пункта назначения. То было небольшое двухэтажное здание из красного кирпича. В глаза мне сразу бросились грязные, местами побитые стекла в прогнивших оконных рамах и общее чувство одинокого запустения, витавшего над этим домом. По периметру высилось железное ограждение, напоминавшее тюремную решётку. Она отбрасывала уродливую длинную тень на фоне оранжевого заката.

Тот дом стал оплотом Красной тюрьмы, живым её воплощением, и я стал её узником.

Евдокия Петровна Малютина оказалась высокой пышной женщиной непонятного возраста. Воспитанники наградили её множеством прозвищ, среди которых лидировали «Рыло» и «Жадная харя». Характер её соответствовал внешнему облику. Тётка была жадна и не охоча до философских изысканий, однако весьма чутко улавливала вопросы касательно финансов. Дотаций же от беспризорных питомцев ей не предвиделось.

При виде меня она сморщилась и закатила глаза, испуская нарочито глубокий вздох.

– Ещё один, – брыли на её лице всколыхнулись, – свалился мне на голову. И куда девать этого прикормыша? Проку от них нет – одни убытки. Положи на место! – вдруг рявкну-

ла она, когда я взял в руки деревянного солдатика с полки. Я дёрнулся и выронил его.

– А теперь поднял и поставил на место! Криворукие все сплошь да рядом! Ну да ладно, – она закашлялась, – не избежись от тебя. Марья Павловна! Эй, Марья Павловна! Отведи новичка в столовую, а потом к медсестре, пусть проверит на вшивость и всё остальное.

– А вы? – она устремила взгляд на Юру. – Чай не родственник?

– Никак нет, – Юра повернулся ко мне, я обнял его, утыкаясь носом в складки его куртки, – ну, прощай, малой! Дальше дело за тобой, и будущее твоё только от тебя самого зависит. Я еще заеду, посмотрю, как ты тут устроился.

Я разорвал кольцо объятий и посмотрел ему в глаза.

– Обещаешь?

– Обещаю, – он улыбнулся как-то натянуто, – сделаю все, что в моих силах.

Юрка покинул меня. Я смотрел, как его фигура исчезает в серой тьме убогих коридоров, по сторонам которых тянулись ряды грязных дверей, выкрашенных желтой краской.

После всех процедур я сидел на жесткой железной кровати в общей спальне, наблюдая за тем, как солнце растворяется в багровом зареве уходящего дня. Мне казалось, что белый человек оставил меня на какое-то время, дав возможность повзрослеть и окрепнуть. Алента хотел видеть меня сильным, но непомерно несчастным.

16 марта 1991 года. Санкт-Петербург

Минуло восемь лет с того момента, как я переступил порог ветхого дома из красного кирпича. Весельчак Юра передал меня на попечение новому государству, волю которого олицетворяла Евдокия Петровна Малютина. Он не сдержал обещания, не приехал проведать меня, но я не злился на него, понимая, что, возможно, на то были причины.

Годы эти были унылыми, но относительно благополучными. Я рос среди сирот, имея живых родителей. Лишенный любви и ласки, я познал все травмирующие аспекты отсутствия самого светлого чувства. Я не умел дружить, потому что условия, в которых я жил, привили отвращение к этой способности: злая конкуренция не создает дружеских союзов.

Нам не хватало еды, но острого голода мы избежали. Полученное образование оказалось вполне сносным, но не фундаментальным. Я научился читать и писать, постиг основы искусства обращения с цифрами, понял принципы геометрии. Бегло ознакомился с некоторыми произведениями отечественных классиков, захлёб читал Максима Горького. Также узнал о Революции всё, что только можно. Однажды нас даже отвели на показ настоящего кино, позднее я увлёкся фильмами Эйзенштейна, испытывая болезненный интерес при просмотре «Стачки».

Тяжелее всего мне давалась новейшая история, в особенности параграфы, освещавшие коллективизацию в положительном ключе.

Меня приняли в организацию «Юных пионеров имени Спартака», первое время я чувствовал гордость, ибо я стремился быть в рядах лучших. Советский Союз воспитал во мне нового человека, правда, скажу откровенно, я не был храбрым. Бледнолицый преследователь внушал мне страх, подстегивавший меня на каждом шагу. Я часто вздрагивал, проходя вечерами по тёмному коридору, где мигала белая лампа. Казалось, что вот-вот он появится передо мной, для того чтобы снова обратить в позорное бегство. С течением лет страх перерос в нервное любопытство и стремление к познанию природы моего кошмара. Я возжелал новой встречи, хотя и понимал, что она принесёт лишь страдание, страшно подумать, но я хотел понять его.

Мы встретились в тридцать девятом году, осенью. Предшествующим летом я покинул стены интерната, оставив за плечами годы пустоты и одиночества. Я не нашел друзей и не нашёл врагов, так что ушёл оттуда без малейшего сожаления. Теперь я был полноправным советским гражданином, имел паспорт и незапятнанное прошлое. На тот момент мне было шестнадцать полных лет. Я мог выйти на работу, но честолюбие и робкая романтическая мечта толкнули меня в иное русло, имя ему было – искусство.

Я подал документы в Ленинградское художественное учи-

лице, что располагалось на Таврической улице. Ввиду своего сиротского статуса я имел льготы, что в итоге спасло меня, поскольку на вступительных экзаменах я не блеснул. В рейтинге абитуриентов я числился одним из последних и по здравой логике не мог претендовать на место студента, однако я все же был зачислен на первый курс живописного отделения. Также мне полагались стипендия и койко-место в общежитии неподалёку. Так проблемы с жильем и финансами были решены на ближайшие пять лет. Теперь мне предстояли годы безудержного самосовершенствования в области академического рисунка, масляной живописи и графики.

В группе нас было двенадцать человек, из них только три девушки. Большинство ребят были значительно старше меня, одному из них исполнилось двадцать четыре к моменту начала учебы. Возраст остальных колебался от двадцати до двадцати двух. Я же был абсолютным ребенком на их фоне, однако пережитые в детстве потрясения сделали меня взрослым, и я не чувствовал сильной разницы между нами.

Внешне я был довольно худ, бледен, но вполне высок. Мои тёмно-русые волосы слегка вились, что придавало мне сходство не иначе как с Антиноем*, чья голова с отколотым носом пылилась на шкафу в нашей мастерской. Черты я имел правильные и выразительные, что позволяло мне оценивать свою наружность как привлекательную. Я даже понравился Маше Заболотиной, вертлявой студентке с отделения скульптуры, однако в то время я не был расположен к ка-

ким-либо отношениям. Пришлось прямо сказать ей об этом, когда она в очередной раз подошла после занятий с предложением прогуляться вместе до общежития.

– Не то подумал, чушка! – взвизгнула она и, потряхнув длинной косой, бросилась прочь, оставив меня пребывать в смущенном состоянии.

Этот малозначимый эпизод впоследствии вызвал конфликт с неким Димой, который расценил мое поведение как недостойное и сообщил об этом всем остальным учащимся. Некоторые посмеивались за глаза, а кто-то напрямую говорил мне, что таких идиотов, как я, еще нужно поискать.

Но я не обращал на них внимания и продолжал налегать на учебу, стремясь освоить мастерство, которое с трудом поддавалось новичкам, подобным мне. Я рисовал простые геометрические фигуры, пытаясь понять принцип построения более сложных предметов, ходил по городу, делая зарисовки живых людей и архитектуры. Вечерами я оставался рисовать обнаженную натуру, что поначалу выходило в высшей степени паршиво. Но я не сдавался и продолжал работать на износ, демонстрируя преподавателям свое горячее стремление к приобретению мастерства.

Первый год я был поглощен учебой, практически не контактируя с другими студентами. Они окрестили меня странным и нелюдимым, поскольку никто так и не сумел найти ко мне подход. В моей душе царила зима. Лёд сковывал моё эго, делая подобием живой машины, имеющей лишь одну

установку. Я следовал программе, не отвлекаясь на пустяки, словно чувствовал приближение чего-то грандиозного и готовился к этому со всем возможным прилежанием.

Это случилось в октябре, когда я уже был студентом второго курса. Одним вечером я, как обычно, остался после занятий, для того чтобы начать работу над сложным натюрмортом. У меня уже был готовый загрунтованный холст, как раз высохший к тому времени, и палитра с новыми красками, которые я раздобыл с помощью преподавателя. В мастерской я был один, да и на всем остальном этаже к тому моменту не было ни души. Все студенты разошлись по домам, и лишь я один сидел в тёмной аудитории, пропахшей маслом и дешёвым лаком. За окном уже стемнело, и слышался вой холодного ветра вкупе с накрапывающим дождём.

Я поставил холст на мольберт, выдавил несколько цветов на палитру, привычным движением поставил лампу у натюрморта, готовясь приступить к работе. Сначала я должен был наметить контур углём, а потом уже наносить первые мазки краски. Но моему намерению воспрепятствовал визг открывшейся оконной ставни. Меня обдало холодом ветряного порыва, и холст мой слетел на пол, чудом не испачкавшись в краске.

Я бросился к окну, с трудом закрывая его. Когда оно встало на место, я увидел свое отражение в тёмном стеклянном проёме. Жёлтый шар дешёвой лампы освещал моё лицо, за которым виднелись очертания интерьера мастерской.

Ужас овладел мной при виде хорошо знакомого белого силуэта, что год за годом преследовал меня в кошмарах, лишая безмятежных грёз. Алента стоял прямо за моей спиной, смотря в глаза моему отражению.

И вновь я не смог закричать, чувствуя подступающий паралич. Лишь хватал ртом воздух и тоже смотрел на него, не в силах разорвать этот дьявольский немой диалог, и без слов значивший слишком много. Его холодная рука легла на моё плечо, от чего по моему телу прошла колотящая дрожь. Он заставил моё безвольное тело развернуться. Теперь наши взгляды встретились вживую. В его блеклых глазах плескалась первобытная ярость, не свойственная человеку, в ней было что-то ужасающе древнее, неподвластное моему понимаю. Клянусь! Нет больше в мире живого существа, способного смотреть так, как смотрел Алента. Он топил меня в страхе, лишая даже малой надежды на сопротивление, взывая к природе подавленных инстинктов.

Он говорил со мной. Его голос был беззвучным, но я мог отчетливо различать его в своих мыслях. Тогда я еще не знал о телепатии и не мог дать объяснение тому, как его в моей голове появляются чужие образы и слова.

– Время быстротечно, Коля. Я наблюдал за тобой, пока ты вырос, и не могу сказать, что недоволен результатом. Ты вырос именно таким, каким я хотел видеть тебя.

– Кто ты?! – то был единственный вопрос, который я мог озвучить.

Он улыбнулся, обнажая ряд острых акульих зубов.

– Я есть то, что управляет твоей жизнью, я то, что имеет тысячи имён, и тебе известно одно из них. Я тот, о ком забыло человечество, тот, чьё существование – загадка для людей.

– Я не понимаю, – мои ноги ослабли, и я был готов упасть.

– Ты нескоро поймёшь, Коля, к твоему же счастью. Ибо как только это произойдёт, я приду к тебе в последний раз.

– Чтобы убить?

– Когда это случится, тебе больше не придётся топтать гнилую землю, ты уйдешь со мной, глупый мальчик. Бойся правды, если тебе дорога жизнь, избегай встречи со мной и не стремись к знаниям. Тем, кто знает истину, я не позволяю жить.

– Почему я? – я сдавленно заскулил. – За что?!

– Слишком рано, Коля, задавать такие вопросы. Сегодня ты узнаешь моё главное имя, этого достаточно, – он приблизился ко мне, не разрывая зрительный контакт, – Алента знает о твоём тайном желании, Алента согласен.

Биение моего сердца прервалось в тот миг, потому что я понял, о чём он говорил.

– Пиши мой портрет, молодой художник, пиши, пока ты способен это сделать! – хищная улыбка вновь тронула его бескровные губы.

2 апреля 1991 года. Санкт-Петербург

Я был словно во сне. Моё сознание все еще пребывало в оковах жутковатого морока, который навёл на меня Алента. Как будто все это не происходило на самом деле, как будто вещественное доказательство правдивости тех событий не лежит сейчас передо мной. Я рисовал его, но руки мои двигались по чужому велению. Мне приходилось довольствоваться лишь ролью наблюдателя, запертого в очередной раз в той Красной тюрьме. Я снова не был властен над событиями, чувствуя себя в высшей степени ничтожным.

– Ты выглядишь уставшим, – издёвка в его шёпоте была слишком явной, – тебе следует отдохнуть, следующей ночью мы продолжим работу над портретом. Ведь невозможно за один раз завершить работу такого масштаба.

Он стоял передо мной, взирающий холодно, но в то же время с каким-то злым интересом. Выражение его лица безразличное, но не лишенное участливости, так смотрел доктор Менгеле во время отбора свежего подопытного мяса. Он был по-своему красив, но внешность его была настолько незаурядной, что казалась мне вопиющим уродством. И дело было даже не в блеклости глаз и кожи, а в аномальных чертах, делающих его схожим с каким-то сказочным существом. Он был похож на рептилию, перенявшую человеческие повадки, и нет более точного описания, которым я могу

наградить Аленту.

Помню, какой контраст создавал его белый силуэт на фоне аквамариновой драпировки. Он сам выбрал эту ткань, заявив, что это его любимый цвет.

– Я бы повесил флаг, но я категорически не приемлю алые оттенки, на мой взгляд, они олицетворяют раздражение и пошлость, – отрешенность его лица и возбужденный голос в моей голове никак не вязались друг с другом, – коммунизм мне претит, дорогой Коля.

– Почему?

– В нём много красного, а красный напоминает огонь. А его суть противоречит моей сути.

По непонятной мне причине я согласился с ним. После этого короткого разговора я всецело отдался работе, понимая, что обязан написать портрет наивысшего качества. Я старался не думать о том, что произойдёт, если ему не понравится конечный результат.

Алента покинул меня на рассвете. Он просто исчез, когда я склонился над палитрой. Я не сразу заметил это, поскольку усталость тормозила моё восприятие, да и чувство страха как-то притупилось за эти несколько часов, проведенных подле него. Поняв, что теперь я нахожусь совершенно один, я опустил голову на пол, кладя голову на драпировку и закрывая глаза. Беспмятство накрыло меня, погружая в крепкий сон, лишенный привычных кошмаров. К моему счастью, следующий день был выходным, и никто не побеспокоил ме-

ня, и я проспал до самого вечера. Мой сон прервал стук в запертую дверь, я с трудом приподнялся, чувствуя тошноту и горечь во рту. Голова болела невыносимо. Вероятно, я имел весьма плачевный вид, поскольку старичок-вахтер, разбудивший меня, в испуге перекрестился, в неверии глядя на трудягу-студента.

– Как же так, Коля? – прошамкал он, протирая круглые очки. – Уже вечер воскресенья, и ты всё время тут был?

– Извините, – я облокотился о стену, – совсем замотался, хотел натюрморт закончить.

– Ох, молодежь пошла, – он покачал плешивой головой, – совсем себя не щадят, в погоне за мастерством о здоровье не думают. Ты на вид совсем синюшный, гляди, упадешь да и помрешь в стенах училища.

– Не выдавайте меня, – я закашлялся, – больше не буду оставаться на ночь.

– Ну, дела, – старик развернулся и засеменял прочь, – приходи ко мне на вахту, я тебе чаю налью!

– Спасибо, дядя Витя! – крикнул я ему вслед. – Позже заскочу!

Убедившись, что вахтёр покинул этаж, я поспешил запереть дверь, нутром чувствуя, что Алента сдержал обещание и уже находится где-то поблизости. Инстинкты меня не обманули, поскольку створка окна вновь скрипнула, и я услышал, как половицы прогибаются под его поступью. По спине пробежали знакомые мурашки, я затаил дыхание, боясь

обернуться.

– Ты не пойдешь к нему на чай, – его бархатистый голос играл на моих нервах, вызывая привычную панику, – прости за это.

Тут я не смог подавить нервную ухмылку, переходящую в хохот. Я согнулся, с трудом сдерживая рвущийся наружу безумный смех.

– Простить?! То есть ты... – я все же рассмеялся, резко поворачиваясь к нему, – ты извиняешься за то, что лишил меня возможности пойти к старику?! Какой ты благородный, мать твою, урод!

– Ошибаешься, у меня нет матери, – ни один мускул не дрогнул на его холодном лице.

– Ты! – я схватил его за отворот куртки, пытаюсь сдвинуть с места, однако моя попытка не увенчалась успехом, ибо Алента словно окаменел, даже не шелохнувшись.

– Ах, так! – я попытался ударить его, но мой кулак прошел сквозь его тело, будто оно вмиг превратилось в воздух. Не удержав равновесие, я грохнулся на пол, позорно распластавшись у его ног. Однако быстро поднялся, намереваясь продолжить бессмысленную схватку хотя бы в словесной форме.

– Бездушная тварь, отнявшая у меня семью! – я перешёл на крик, не думая о том, что нас могут услышать посторонние, – из-за тебя я навсегда потерял родных, девять лет боялся, что кто-то узнает о моём прошлом, скрывался как чер-

вяк, не зная радости и покоя! Да как ты смеешь издеваться надо мной снова?!

– Успокойся, – он произнес лишь одно слово, заставившее меня умолкнуть, – пройдёт не один десяток лет, прежде чем ты одумаешься и поблагодаришь меня за то, что я сделал с тобой, глупый Коля. Сейчас слишком рано для подобных откровений, потому я не скажу больше. Возьми себя в руки и придержи безосновательные обиды для другого случая, ты имеешь право злиться, но не на меня, ибо я не имею отношения к твоему горю.

Я перевёл дыхание, глядя на него с ненавистью, что не вызвало со стороны Аленты никакой реакции.

– Ты голоден, – он указал рукой куда-то в сторону, – иди поешь.

На столе подле натюрморта стояла странная белая посуда, напоминавшая фарфоровую супницу, украшенная золотой греческой росписью. На её стенках вились растительные виноградные орнаменты. Я склонился над ней и приоткрыл крышку, которая была горячей. Оттуда сразу повалил пар, насыщенный вкуснейшим ароматом курицы с овощами. Мой рот наполнился слюной, и я вдохнул пар, закатывая глаза в блаженстве. До моих ушей донесся смешок Аленты.

– Это суп, – он стал подле меня, протягивая деревянную ложку, добытую, по всей вероятности, из художественного реквизита, – ешь, пока он не остыл.

Я смерил его злым взглядом, но все же взял ложку и за-

черпнул ею жижу, сразу же отправляя её в рот. Как и предполагалось, вкус у варева был божественный.

– Его приготовили далеко отсюда, – Алента криво улыбался, – в вашей стране такие рецепты и специи не используются, так что тебе стоит поблагодарить меня за подобную экзотику.

– Ни за что, – я с жадностью пережевывал куски мяса, наслаждаясь пряным ароматом специй, тогда я еще не знал, что это было индийское карри.

– Также у меня есть чай, – он вытащил флягу из кармана куртки, – он тоже не здешний.

Действительно, в тот вечер я впервые попробовал зелёный чай, который в настоящее время можно купить на рынке без особого труда. Напиток мне понравился, хотя и показался каким-то пресным. Когда с едой было покончено, Алента молча указал взглядом в сторону мольберта, приказывая мне встать у него, а сам направился к драпировке, замирая подле неё в точно такой же позе, как это было вчера. Мне даже не пришлось поправлять его положение.

Я принялся за дело, отменяя лишние мысли, заронившие сомнения относительно роли Аленты в моей жизни. Он чувствовал мои переживания и тихо улыбался, излучая при этом пугающий холод.

11 апреля 1991 года. Санкт-Петербург

Так продолжалось несколько дней. За это время я практически не покидал стен мастерской, что к концу недели привело меня в крайне болезненное состояние. Благо я не отощал, поскольку мой бледный гость каждый вечер приносил что-то съестное. Блюда эти были неизменно диковинные и весьма вкусные. Я старался не задаваться вопросами относительно того, откуда бралась эта еда и почему Алента проявлял обо мне своеобразную заботу. Поначалу это тяготило меня, вызывая внутренний протест, ибо я продолжал воспринимать его как враждебное существо, издевавшееся надо мной долгие годы. Пищу же я расценивал как подачку из рук вышестоящего, что вызывало во мне волну бешенства.

– Злость бессмысленна, – Алента говорил ровно, так, будто моя ярость не производила на него никакого впечатления, – стоит направить разрушительную энергию в другое русло.

Я подчинялся, в смирении вставая у мольберта, для того чтобы продолжить работу. За пять ночей портрет был практически закончен, мне оставалось лишь уточнить детали, прописать мелкие черты, делая их более выразительными. За то время Алента ни разу не взглянул на портрет, что вызывало во мне нервное напряжение, поскольку я не мог оценить его качество. Впервые я выполнял столь сложную

работу без советов преподавателя и боялся, что мог допустить ошибку.

– Осталось немного, – Алента прервал мои размышления, – сегодня последняя ночь, когда мы разговариваем с тобой так просто. Сейчас ты должен отвлечься и послушать меня, ибо я собираюсь сказать нечто важное.

Я отложил кисть и уселся на стул напротив него, чувствуя себя крайне неуверенно.

– Какой сейчас год? – его вопрос показался мне абсурдным.

– Тридцать девятый.

– Скоро будет сороковой, – его глаза подернулись туманом, – за ним придёт сорок первый. Я слышу рокот войны, о стране Советов еще предстоит узнать. Земля пропитается кровью, и воздух станет вновь ядовитым, море поглотит в себе тонны грязного железа. Не будет тут человека, которого эта война не коснётся.

– О каких врагах ты говоришь? – я глядел на него в неверии. – Они придут к нам? В сорок первом?

– Да, и ты окажешься в эпицентре бойни, где ты должен встретить свою смерть. Тогда мы встретимся снова, и ты будешь рад видеть меня.

– Ты спасешь меня?

– Возможно.

– Чтобы продолжить издеваться надо мной? – я сжал кулаки, стараясь не смотреть ему в глаза. – Растянуть мои му-

чения?

– Да, – Алента едва заметно кивнул и подошёл к мольберту, впервые разглядывая портрет.

– Хорош, – протянул он спустя минуту, – едва ли это можно назвать шедевром, но для студента вполне сносно. Ты изобразил меня со всей возможной достоверностью.

– Ты заберешь его? – я через силу задал вопрос, давно беспокоивший меня.

– Я оставлю его тебе, – он повернулся ко мне, усмехаясь, – ты не должен забывать моего облика. Представь, пройдут годы, молодость оставит твои черты, постепенно превращая в жалкого старика. И в часы особой грусти ты дряхлой трясущейся рукой потянешься к изъеденной молью тряпке, что скрывает портрет того, над кем не властны годы. Воистину это будет мучительно для тебя! Воспоминания вновь оживут, обретая форму прошлого, перед твоим помутневшим взором пронесутся годы беспокойных скитаний. Ты поймешь, что так и не смог избавиться от одиночества, и Алента будет единственным, кому небезразлична твоя судьба. Ты не создан для дружбы, Коля. Тебе не пристало познать любовь. Твоей целью всегда была жажда к запретной истине, недоступной даже для просветлённых голов мудрецов. Твоя участь определена мной, и я не оставляю тебе выбора, за что ты можешь испытывать ко мне ненависть. Но, независимо от силы твоей неприязни, я продолжу управлять твоей судьбой, вынуждая познать мучительное откровение.

Его слова казались непонятными. Они вселяли чувство предопределённой безнадёжности, избавиться от которой я не мог. Она поселилась в моём юном сердце, пронизывая его путами чёрных ядовитых корней. Алента взрастил во мне ненависть ко всему светлому, лишил меня веры в беззаботную жизнь.

– Чего мне ждать, Алента? – я впервые назвал его по имени. – Что принесёт мне эта жизнь?

– Высшее знание, – сказал он тихо, ловя мой взгляд, – поверь, оно стоит того, чтобы отказаться от мирского блаженства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.